

ВСЕМИРНАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭЗИИ

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ



Осип Мандельштам
Стихотворения

«ЭКСМО»

Мандельштам О. Э.

Стихотворения / О. Э. Мандельштам — «Эксмо»,

Поэт трагической судьбы, О. Мандельштам сам не считал себя поэтом трагическим. У него есть пейзажная и любовная лирика, окрашенная в нежнейшие акварельные тона, есть стихи, пронизанные легким «петербургским» юмором, но есть и достигающие высокого драматического накала стихи о подавлении человека государством (причем поэт с одинаковой неприязнью говорит и о дореволюционной, и о большевистской России). Для него единственная мера и точка отсчета – человек, который является своеобразным высшим воплощением Природы и Истории. Эта мысль проходит через все творчество поэта. В книге представлен наиболее полный корпус стихотворений О. Мандельштама. Обширные комментарии помогут войти в сложный мир, созданный одним из самых прославленных поэтов Серебряного века.

© Мандельштам О. Э.

© Эксмо

Содержание

«...Вечные сны, как образчики крови...»	6
Стихотворения 1908 – 1925 годов	17
Камень	17
* * *	17
* * *	17
* * *	17
* * *	18
* * *	18
* * *	19
* * *	19
Silentium[1]	19
* * *	20
* * *	20
* * *	21
* * *	21
* * *	22
* * *	22
Раковина	23
* * *	23
* * *	24
* * *	24
* * *	25
* * *	25
* * *	25
Царское Село	26
Лютеранин	26
Айя-София	27
Notre Dame	28
Петербургские строфы	28
* * *	29
Бах	30
* * *	30
* * *	31
Адмиралтейство	31
Кинематограф	31
* * *	32
Домби и сын	33
Ахматова	34
* * *	34
* * *	34
* * *	35
Равноденствие	35
* * *	35
* * *	36
* * *	36
* * *	37

Европа	37
Посох	38
Ода Бетховену	38
* * *	39
* * *	40
Дворцовая площадь	40
* * *	41
* * *	41
* * *	42
* * *	42
Tristia	44
Зверинец	44
* * *	45
* * *	45
Соломинка	46
1	46
2	47
* * *	47
1	47
2	47
* * *	48
* * *	49
* * *	49
Декабрист	49
* * *	50
Меганом	51
* * *	52
* * *	52
Кассандре	53
* * *	54
* * *	54
* * *	55
* * *	55
* * *	56
Сумерки свободы	56
Tristia	57
Черепаха	58
* * *	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Осип Эмильевич Мандельштам

Стихотворения

«...Вечные сны, как образчики крови...»

Вслушаемся в ранние стихи Мандельштама.

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа...

Это мир еще до грехопадения, до появления в нем человека. Никто не намеревается сорвать яблоко с древа познания добра и зла, а потому и вся дальнейшая человеческая история невозможна. Парис не поднесет яблока того же искусительного сорта Елене, и не отправится многоименный флот, груженный воинами, в море. Не будет пожара Трои, не будет блистательных свершений Рима. И далее, далее – ни Лжедмитрия, ни Марины Мнишек, ни декабристов, ни «Титаника», ни сумерек первого революционного года.

Плод перезрел и сорвался с ветки, так и не дождавшись прикосновения человеческой руки.

Человек своим присутствием не просто меняет что-то в мире. Он изменяет весь мир. Еще не решен вопрос: зачем дарована жизнь, как возникает потребность в божестве: ведь кто-то эту жизнь даровал?

Дано мне тело – что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить.

И поздно уже бояться, сторониться каких бы то ни было вопросов, уговаривать себя, будто все наладится, если не задумываться, пребывать в первозданном неведении.

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа...

История течет своим чередом. Она похожа на реку – недаром в своей предсмертной, незаконченной оде Г. Державин воспекает «Реку времен».

Много-много позднее, сочиняя «Стихи о русской поэзии», Мандельштам вспомнит Державина, чей «татарский кумыс» стиха пьянит по-прежнему. Вспомнит и Батюшкова, чьим именем он отрекался когда-то от символизма, чтобы стать навсегда акмеистом. Тогда он писал:

И Батюшкова мне ненавистна спесь.
Который час его спросили здесь,
А он ответил любопытным – вечность.

Автор пока не знал, что вопрос не в том, что предпочесть – луну, то есть возвышенную и устаревшую образность символизма, или светлый циферблат из тех, какими украшали фасад часового магазина, то есть вещь только что народившегося акмеизма, с ясной и четкой деталью.

Вопрос, как оказалось, надо ставить иначе. Ведь Батюшков, один из самых гармоничных поэтов XIX столетия, ответил так (а ответ его зафиксирован документально) не для того, чтобы поразить публику. Батюшков помешался. Место поэтического прозрения заступило безумие.

Но ведь это не просто болезнь. Это отступление по лестнице эволюции. Назад, вниз, во тьму.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

Природа отступает от людей, вернее, отступается от них, о чем и повествует стихотворение 1932 года «Ламарк». Но такая «лестница Ламарка» в действительности лишь первый пролет многосоставной лестницы человеческой культуры, где свое место занимают эпохи, народы, страны.

Казалось бы, читатель имеет дело с оригинальной и последовательно разрабатываемой философской концепцией, которая, к тому же, нашла необычные эстетические формы. Тем не менее это не совсем так.

Концепция эта не принадлежит одному Мандельштаму. Следовало бы назвать ее «обще-акмеистским достоянием». Именно тут, как представляется, общность столь разных индивидуальностей, объединившихся под названием «акмеисты», общность, которую никак не могут отыскать исследователи.

И вправду, что же объединяло Н.С. Гумилева, С.М. Городецкого, А.А. Ахматову, М.А. Зенкевича, В.И. Нарбута и Мандельштама (о так называемых младоакмеистах – Г. Иванове, Г. Адамовиче, И. Одоевцевой, Н. Оцупе – и речи быть не может, что говорить о десятках сочинителей, развивавшихся под влиянием акмеизма).

Для последователей акмеизм был только стилистикой, более того – каноном. Для самих акмеистов канона не существовало, более того, не существовало и стилистической общности. А вот контуры общей философской концепции, фрагменты каковой легко обнаружить у каждого из них, даже у С.М. Городецкого, который вскоре, разойдясь с Н.С. Гумилевым, лидером

группы (или направления, как говорят об акмеизме литературоведы), акмеизм оставил, эти контуры различимы.

Напомню, что сам термин, взятый новым направлением для самоназвания, означает «высшая степень». Но высшая степень только ли искусства? Разумеется, нет. Искусство не берется само из себя. Оно венчает череду истории, которая начинается во временах еще доисторических, где нет человека. Бог или Природа стоит у истоков – каждый решает сам. Последовательность ступеней, смена одного другим от того не будет отменена.

От неразличимых глазу клеток, от амёб, до великих древних держав, до пророков, героев, завоевателей, вплоть до нынешнего часа. До сейчас, в котором живет поэт.

Наиболее стройно, исчерпывающе и, если не слишком ловко выразиться, научно разработал эту концепцию М.А. Зенкевич. Его книга стихов «Дикая порфира» (1912) и построена по особому плану. Она открывается стихотворением «Пары сгущая в алый кокон...», как бы прологом к разворачивающейся сверхдраме, потом следуют стихотворения, поделенные на разделы, обозначенные в авторском плане: «Материя», «История», «Лирика», «Переводы» (здесь нетрудно увидеть градации «своего» и «чужого», «близкого» и «удаленного») и завершается стихотворением «Сумрачный бог» как эпилогом.

Но и отдельные стихи, как зародыш, что несет в себе и все стадии развития мира, и все стадии развития живого существа, по большей части включают в себя ту же схему. Таково, например, стихотворение о ящерах.

О ящеры-гиганты, не бесследно,
Вы – детища подводной темноты, —
По отмелям, сверкая кожей медной,
Проволокли громоздкие хвосты!

Истлело семя, скрытое в скорлупы
Чудовищных, таинственных яиц, —
Набальзамированные ваши трупы
Под жирным илом царственных гробниц.

И ваших тел мне святы превращения:
Они меня на гребень вознесли,
И мне владеть, как первенцу творенья,
Просторами и силами земли.

Я зверь, лишенный и когтей и шерсти,
Но радугой разумною проник
В мой рыхлый мозг сквозь студень двух отверстий
Пурпурных звезд тяжеловесный сдвиг.

А все затем, чтоб пламенем священным
Я просветил свой древний, темный дух
И на костре пред Богом сокровенным,
Как царь последний, радостно потух;

Чтоб пред Его всегда багряным троном,
Как теплый пар, легко поднявшись ввысь,
Подобно раскаленным электронам,
Мои частицы в золоте неслись.

Мандельштам по-своему откликнется на эти стихи, его «государства жесткая порфира», существующая во времени историческом, есть прямая отсылка к «дикой порфире», в которую облеклась природа. Но куда большее влияние на Мандельштама оказало стихотворение Н.С. Гумилева, которое, в свою очередь, было репликой в диалоге с М.А. Зенкевичем, ведь автор предлагал собственный вариант общеакмеистской концепции. Это стихотворение «Шестое чувство». Отзвуки его есть и в стихах «Я по лесенке приставной...» и в одном из восьмистиший.

Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Всё ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья, —

Так век за веком – скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Имея в виду всю перспективу, открывающуюся при учете этой концепции, можно истолковать и слова Мандельштама, как-то сказавшего, что акмеизм – это «тоска по мировой культуре».

У А.А. Ахматовой, и с каждым годом это становилось все яснее, человек представлял в исторических обстоятельствах. У В.И. Нарбута центральное место занимало природное начало, недаром одна из книг его так и называлась «Плоть». Но это лишь части, фрагменты целого.

И так уж вышло, что именно Мандельштам оказался самым последовательным акмеистом. Сменялись темы, менялась тональность стихов, а единство присутствовало.

Мир был другим до появления человека. Это присутствие человека заставило все пойти иначе. Именно так следовало бы истолковать термин «адамизм» – второе название акмеизма. Мир после явления на свет Адама. Он дает вещам названия. Расплата за это – мировые катаклизмы, грянувшие от того, что яблоко было сорвано.

Мир начинался страшен и велик:
Зеленой ночью папоротник черный,
Пластами боли поднят большевик —
Единый, продолжающий, бесспорный,

Упорствующий, дышащий в стене.
Привет тебе, скрепитель добровольный
Трудящихся, твой каменноугольный
Могучий мозг, гори, гори стране!

В стихотворении 1935 года следует видеть не попытку Мандельштама приспособиться к обстоятельствам, покривить душой, а желание истолковать сегодняшний день, завершающий, увенчивающий старания истории и природы.

Тут и заключалась проблема: сегодняшний день оказался неоднозначным, трудным для истолкования, а поэт был последователен. И до конца остался верен акмеизму. Расстрелян Н.С. Гумилев, совсем оставил литературу В.И. Нарбут, стал иначе писать стихи М.А. Зенкевич, А.А. Ахматова всегда находилась чуть в стороне от тех вопросов, о которых тут упоминается (ее темы – «личность» и «человеческая история» без каких бы то ни было дальних исторических экскурсов, тем более без погружения во времена праисторические).

Итак, один Мандельштам. И это при том, что он принял акмеизм не сразу. О последствиях такого «присятия» можно судить по рецензиям Н.С. Гумилева на мандельштамовские сборники, как, впрочем, судить можно и о том, что связывали их не только литературные интересы, но и дружба.

В отзыве на книгу «Камень» 1913 года сдержанно отмечается, что в книге этой «два резко разграниченных отдела» – это стихи, написанные до 1912 года, и стихи, написанные затем. Упомянутый год и стал переломным, а главной вехой выступает стихотворение «Нет, не луна, а светлый циферблат...»

Отзыв на книгу «Камень» 1916 года абсолютно иной. Конечно, книга от издания к изданию совершенствовалась, по-своему отражая духовный рост ее автора, но тем заметнее дифирамбический тон рецензии: «Прежде всего важно отметить полную самостоятельность стихов Мандельштама; редко встречаешь такую полную свободу от каких-нибудь посторонних влияний. Если даже он наталкивается на тему, уже бывшую у другого поэта (что случается редко), он перерабатывает ее до полной неузнаваемости. Его вдохновителями были только русский язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, и не всегда успешно, да его собственная видящая, слышащая, осязающая, вечно бессонная мысль».

И тут нелишне вспомнить отзывы В.Ф. Ходасевича на те же самые сборники Мандельштама, хотя бы и потому, что рецензент смотрит на объект своего критического анализа со стороны и при этом старается быть предельно объективным.

В первом случае В.Ф. Ходасевич так же сдержан, однако сдержанность его не влияет на точность оценки: «Подобно Адаму (недаром сам акмеизм порой именовался «адамизмом»), поэт ставит главной своей целью – узнать и назвать вещи. Талант зоркого метафориста позволяет ему тешиться этой игрой и делать ее занимательной для зрителя. Поэзия Мандельштама – танец вещей, являющихся в самых причудливых сочетаниях. Присоединяя к игре смысловых ассоциаций игру звуковых, поэт, обладающий редким в наши дни знанием и чутьем языка, часто выводит свои стихи за пределы обычного понимания: стихи Мандельштама начинают волновать какими-то темными тайнами, заключенными, вероятно, в корневой природе им сочетаемых слов – и нелегко поддающимися расшифровке. Думаем, что самому Мандельштаму не удалось бы объяснить многое из им написанного». Главное не то, что рецензент хвалит метафорический дар Мандельштама, как бы косвенно укоряя Н.С. Гумилева, отмечавшего, что нет отдельных метафор и образов, потому что они лишь способ выявить человека (подчеркивание собственно метафоризма – и есть укор). Нет, В.Ф. Ходасевич формулирует принцип, которым пользуется Мандельштам, создавая стихи, и формулирует на удивление точно.

Во втором отзыве критик выделяет другую сторону поэтики Мандельштама, подбирая уже не столь точную формулировку и все-таки указывая на не менее важное свойство мандельштамовских стихов – комический эффект, рождающийся при их чтении (пусть не всех и не всегда): «О. Мандельштаму, видимо, нравится холодная и размеренная чеканка строк. Движение его стиха замедленно и спокойно. Однако порой из-под нарочитой сдержанности прорывается в его поэзии пафос, которому хочется верить хотя бы за то, что поэт старался (или сумел сделать вид, что старался) его скрыть. К сожалению, наиболее серьезные из его пьес, как

«Silentium», «Я так же беден», «Образ твой мучительный и зыбкий», помечены более ранними годами; в позднейших стихотворениях г. Мандельштама маска петроградского сноба слишком скрывает лицо поэта; его отлично сделанные стихи становятся досадно комическими, когда за их «прекрасными» словами кроется глубоко ничтожное содержание:

Кто смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Ну, право, стоило ли тревожить вершины для того только, чтобы описать дачников, играющих в теннис? Думается, г. Мандельштам имеет возможность оставить подобные упражнения ради поэзии более значительной».

В действительности, тут куда более странно соединение разнородных понятий, обернувшееся столкновением. Олимпийский поединок, альпийский снег, резвая девушка. Не чересчур ли много, ведь излишество нелепо, оно рождает комический эффект?

Недаром В.Б. Шкловский отметил, говоря о Мандельштаме: «И кажется все это почти шуткой, так нагружено все собственными именами и славянизмами. Так, как будто писал Козьма Прутков. Эти стихи написаны на границе смешного».

Здесь, опять-таки, странность. Существуют две противоположные точки зрения на мандельштамовскую поэзию, о которых подробно писал С.С. Аверинцев (правда, вторую точку зрения предельно утрируя): либо искусственный знаток и мыслитель манипулирует смыслами и понятиями всей мировой культуры, так сказать, культурными кодами, либо наслаждается сюрреалистической образностью, над смыслом которой и не задумывается. С.В. Полякова, которой приписывается эта концепция, утверждала нечто совершенно иное. Она говорила, что при самых причудливых неточностях и ошибках (наиболее показательный пример – вышивание Пенелопы в стихотворении «Золотистого меда струя из бутылки стекла...», тогда как подобное занятие вообще не было известно в Древней Греции) Мандельштам создает стихи, предельно убедительные для читателя, создает, возбуждая систему ассоциаций с помощью звукового облика используемых названий, имен и даже глаголов.

Кажется, подобная концепция вполне верна. Ее, по-своему, выстраивает и Л.Я. Гинзбург. Вот фрагмент из дневника: «Жирмунский, который был близок с Мандельштамом, рассказывает, что Мандельштам умел как-то пощупать и понюхать старую книгу, повертеть ее в руках, чтобы усвоить принцип эпохи. Жирмунский допускает, что Мандельштам не читал «Федру»; по крайней мере экземпляр, который Виктор Максимович лично выдал ему из библиотеки романо-германского семинария, у Мандельштама пропал, и скоро его нашли на Александровском рынке.

Насчет «Федры» свои сомнения В.М. подтверждает тем, что в стихотворении, посвященном Ахматовой, имелся первоначальный вариант:

Так отравительница Федра
Стояла некогда Рашель...

Мне кажется, это можно истолковать и иначе. Мандельштам сознательно изменял реалии. В стихотворении «Когда пронзительнее свиста...» у него старик Домби повесился, а Оливер Твист служит в конторе – чего нет у Диккенса. А в стихотворении «Золотистого меда струя...» Пенелопа вышивает вместо того, чтобы ткать.

Культурой, культурными ассоциациями Мандельштам насыщает, утяжеляет семантику стиха; фактические отклонения не доходят до сознания читателя. Виктор Максимович, например, обратил впервые мое внимание на странность стихов:

И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне...

Какие могут быть у оссиановских дружинников шарфы?» И Федра-отравительница, и библиотечная книга, оказавшаяся на рынке, – все относится к области анекдотов. Но анекдотов, связанных с Мандельштамом, великое множество. К ним относятся и анекдоты о Мандельштаме, сдающем экзамены в университете. Есть устный рассказ Ю.Н. Тынянова, разросшийся до целой интермедии и записанный по памяти мемуаристом, чрезвычайно смешной, он все же «из вторых уст». Но он подтверждается и другими воспоминателями, другие детали, совсем не забавно, а суть та же. Мандельштам сдает экзамен по античной литературе и не может назвать ни одной комедии Плавта, лишь повторяет общие слова, дескать, комедии эти «пережившие века» и тому подобное.

Тем не менее очевидцы вспоминали анекдоты и куда более выразительные. Например, Н.А. Павлович, которая, как Мандельштам, жила в петроградском Доме искусств, повстречала его на лестнице. Мандельштам бормочет (так с голоса сочинял он стихи): «...Зиянье Аонид, зиянье Аонид...» – И вдруг спрашивает: «Надежда Александровна, а что такое «Аониды»?»

Этого примера, должно быть, достаточно, чтобы подтвердить мысль С.В. Поляковой. Но и С.С. Аверинцев по-своему прав, говоря о принципах мандельштамовской поэтики. Единственное уточнение – это все же не принципы, а излюбленные приемы (разница немалая). С.С. Аверинцев называет это «техникой наложения», так, поэт может объединить, например, католическое и греко-православное.

В стихах «Евхаристия» две первые строки предлагают реалии латинской мессы, а в следующей строке речь о греческом языке. Тот же самый прием можно увидеть в словосочетании «Россия Александра», где под этим именем следует разуметь и императора Александра I, и Пушкина.

С.С. Аверинцев даже предлагает концепцию, согласно которой художественный мир Мандельштама – это каталог тем и мотивов, нечто подобное тому, что составил В.Я. Пропп для русской сказки. Отсюда и непроизвольная, серьезная пародийность (вспомним слова В.Б. Шкловского о насыщенности мандельштамовского стиха именами и славянизмами).

От себя отмечу и еще один своеобразный эффект, «двойную экспозицию», которая, упрощая понимание стиха, затрудняет его толкование, комментирование из-за одновременного существования нескольких временных и тематических планов. Скажем, Мандельштам видит реалии послереволюционной действительности как бы сквозь зыбкие силуэты реалий прошлого. Приведу лишь один пример.

В стихотворении « – Нет, не мигрень, – но подай карандашик ментоловый...» есть строка «Дальше сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно вижу я...» Речь идет, разумеется, о воспоминании, о давних годах, но это не отменяет и нынешней точки зрения – цветные стекла на верандах существовали целые десятилетия, они стали приметами и этого времени, хотя пришли из традиции дореволюционной. Так что строку эту можно и нужно воспринимать, учитывая «двойственность» подобного взгляда. Нетрудно предположить, что память начала свою работу именно потому, что вид цветных стекол на веранде вызвал картины прошлого. Однако только ли прошлое и настоящее тут сосуществуют? А вдруг «дальше» и «ближе» относится не к памяти, а к зрению: вот она, веранда, вот цветные стекла, сквозь которые видно небо и землю, и это небо, и эта земля по сути своей не изменились, они таковы и в прошлом, и в настоящем?

Но только ли вещи, предметы пронзают времена и пространства? Тут следует вспомнить слова, сказанные о Мандельштаме, казалось бы, предельно рассудочным М.А. Зенкевичем: «...когда я о нем думал, что он по векам там бродит, и так далее... Так ведь это оттого, что еврейская кровь древнее нашей, мы-то в то время еще скифами где-то были...». И после паузы: «А они... Рим и все это... Это у них, так сказать, в крови, они бродят по своей истории...»

Это сказал человек куда более образованный, чем Мандельштам, человек, последовательно и полно изложивший в стихах философско-культурологическую концепцию акмеизма.

Возможно, именно так следует понимать мандельштамовское утверждение: «Нет, никогда, ничей я не был современник...», предъявляемое как доказательство надменного безразличия Мандельштама к действительности толкователями и критиками. И, возможно, именно в том смысл строчек:

...Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

Чтобы чувствовать, не обязательно знать.

В подтверждение такого вывода можно предложить еще один аргумент. Сам процесс сочинения стихов у Мандельштама был странствием, как бы в уменьшенном масштабе повторяя те самые скитания по векам и пространствам, которые проделал его народ и которые отразились в его собственных строках. В.Б. Шкловской рассказывает о временах петроградского Дома искусств: «По дому, закинув голову, ходил Осип Мандельштам. Он пишет стихи на людях. Читает строку за строкой днями. Стихи рождаются тяжелыми. Каждая строка отдельно... Осип Мандельштам пасся, как овца, по Дому, скитался по комнатам, как Гомер». Это не образное сравнение, а меткая характеристика. В.Б. Шкловский и сам отлично чувствовал подобные вещи, психосоматикой был связан с историческими событиями.

Зато М. Слонимский, чья комната попала в орбиту стихотворных странствий поэта, вспоминал, как тот бродил кругами, все заходя к нему в комнату, произнося ту или иную строку. И так всю ночь, измучив хозяина и не замечая его, пока стихотворение не было сочинено. Записав его на листке, Мандельштам сказал: «Передайте куда-нибудь, пожалуйста». И удалился.

Даже само отношение Мандельштама к стихам имеет исторические аналогии. Певец, особенно в восточной традиции, не поет сам от себя, песня внушена ему свыше, он только уста, которыми говорят боги. Мандельштам бормотал ту или иную строчку, как бы прислушиваясь к внушаемому извне. Слово, которое он «позабыл сказать» из знаменитого стихотворения, на самом деле «слово не услышанное» или «не понятое». И потому оно возвращается назад, улетает из этого мира. Зато в стихах законченных, верно услышанных, а потому абсолютных, каждое слово стоит на своем месте. Здесь лад совершенства, след божественного прикосновения.

Мемуаристка вспоминает, как он удивлялся тому, что кто-то забыл строку или слово из классического стихотворения. Ведь это невозможно. Оно уже существует. И говорил собеседнице: не можете вспомнить, так найдите. Ведь это слово единственное.

В жизни Мандельштама, в бытовой ее стороне, нетрудно разглядеть те же закономерности.

К.И. Чуковский, может быть, из свойственной ему парадоксальности и полемической насмешки как-то написал, что он помнит Мандельштама другим, не таким, как обычно его вспоминают: «Почти все мемуаристы изображают Осипа Мандельштама тщедушным и хилым. Впалая грудь, изможденные щеки. Таким и был он в последние годы. Но мне вспоминается другой Мандельштам – сильный, красивый и стройный. Его молодая привычка: выпячивать грудь и гордо вскидывать кудрявую голову подбородком вперед – делала его похожим на драчливую птицу...

Помню, в предосеннюю пору мы вышли с ним и с другими друзьями на пустынный куок-кальский пляж.

День был мрачный и ветреный, купальщиков не было. И вдруг Осип Эмильевич молча сбросил с себя легкую одежду, и не успели мы удивиться, как он оказался в воде и быстро поплыл по направлению к Кронштадту. Плыл он саженками, его сильные руки, казавшиеся белыми на тусклом фоне свинцового моря, ритмически взлетали над водой против ветра.

Не помню, кто был тогда с нами, – кажется, Борис Григорьев, Николай Кульбин, Юрий Анненков. Мы подошли к Мандельштаму, едва только он воротился. Я хотел принести полотенце и теплую куртку (дом был недалеко, в двух шагах), но Мандельштам, не сказав ни слова, стал бегать по холодному пляжу так быстро, что нельзя было не залюбоваться его здоровьем и молодостью. Бегал он долго без устали. И оделся лишь после того, как обсушил и согрел свое крепкое тело».

Воспоминания убедительны. Тем не менее образ постаревшего Мандельштама не только более привычен, но и сильнее насыщен смыслом, более весом. Кто-то из хорошо знавших поэта, сказал, что никогда не видел человека, который бы старел так страстно, с такой жадностью, с такой готовностью, почти наслаждением, как Мандельштам.

Но это не было собственно старение. Это было приближение к тому внутреннему возрасту, что есть у каждого. Можно было бы сказать: возрасту психологическому.

Мандельштам середины тридцатых годов ни единой чертой не похож, по крайней мере, физически, на человека, изображенного К.И. Чуковским.

«Мандельштам невысок, тощий, с узким лбом, небольшим изогнутым носом, с острой нижней частью лица в неряшливой почти седой бородке, с взглядом напряженным и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами, как переполнен мыслями и прекрасными словами. Читая, он покачивается, шевелит руками; он с наслаждением дышит в такт словам – с физиологичностью корифея, за которым выступает пляшущий хор. Он ходит смешно, с слишком прямой спиной и как бы приподнимаясь на цыпочках.

Мандельштам слывет сумасшедшим и действительно кажется сумасшедшим среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком, – расстояния, которое составляет сущность европейского уклада. ... Должно быть, он очень разный. И в состоянии скандала, должно быть, он натуральнее. Но великолепный Мандельштам... нелеп. Ему не совладать с простейшими аксессуарами нашей цивилизации. Его воротничок и галстук – сами по себе. Что касается штанов, слишком коротких, из тонкой коричневой ткани в полоску, то таких штанов не бывает. Эту штуку жене выдали на платье.

Его бытовые жесты поразительно непрактичны... Он располагает обыденным языком, немного богемным, немного вульгарным... Но стоит нажать на важную тему, и с силой распахиваются входы в высокую речь... Он говорит словами своих стихов: косноязычно (с мычанием, со словом «этого...», беспрерывно пересекающим речь), грандиозно, бесстыдно. Не забывая все-таки хитрить и шутить». Это Мандельштам 1933 года, как отразился он в дневнике Л.Я. Гинзбург. А в 1934 году он признался А.А. Ахматовой: «Я к смерти готов».

Ни расхождения Мандельштама с эпохой, ни его безбытность нельзя преувеличивать или переоценивать. Самые близкие для него люди, которые его кормили или у которых он ночевал, признавали: Н.Я. Мандельштам делила с мужем изгнание и нищету, но была белоручкой и отчасти лентяйкой. Вот очередной анекдот, связанный с Мандельштамом. Как-то он явился к В.Г. Шкловской-Корди, закрывая шапкой дырку сзади на штанах, и стал просить ее помочь купить штаны, благо, деньги у него есть. Решительная жена В.Б. Шкловского, которая сталкивалась и не с такой нищетой и умела противостоять бытовым неурядицам, предложила снять штаны, она их заштопает. И тут воспротивилась Н.Я. Мандельштам – нет, они пойдут и купят

новые. Оказывается, если штаны заштопать, то Мандельштам узнает, что это можно делать, а она тщательно скрывала этот факт. Н.Д. Вольпин, поэтесса, силою обстоятельства ставшая переводчицей (у нее семья Мандельштамов нередко ночевала), признавалась – Мандельштам зарабатывал больше, чем все из ее знакомых переводчиков, но деньги в руках не держались, упархивали в никуда. Мандельштам мог в самые голодные дни сменять пайковый хлеб на сладкое и тут же его съесть, а потом голодать.

Отсутствие собственного дома во многом связано с враждебными обстоятельствами: Мандельштам просил дать комнату, писательская организация отказывала. Когда же он получил наконец квартиру в Нащокинском переулке, в доме, где жил в том числе и М.А. Булгаков, то вскоре съехал. Он понимал, что за квартиру придется платить слишком дорого – кривить душой, лгать.

Мандельштам скитался по чужим углам, принимая чужое гостеприимство и чужой хлеб как должное. Так певцы на Востоке – желанные гости в любой юрте. И не он поет в благодарность за кров и пищу, а его с благоговением кормят и поят, предоставляют ночлег за то, что он – певец.

Что же до расхождений с эпохой, то Мандельштам совершенно искренне пытался найти в ней место. Он не кривил душой, когда писал рецензию, например, на сборник стихов поэтов-метростроевцев. Отнюдь не исключено, что их труд он рассматривал в свете какой-нибудь культурологической концепции, предположим, учения о «полой земле». Сходные идеи можно увидеть и в строке «На Красной площади всего круглей земля...», ведь упоминавшаяся «обща-акмеистическая концепция» предельно детерминирована. Недаром М.А. Зенкевич так характеризовал стихотворение из «Дикой порфиры»: «...в стихах о зоологическом музее подчеркивалось «скрытое единство живой души и тупого вещества».

И отношение Мандельштама к И.В. Сталину, либо – скажем точнее – сталинский образ в стихах Мандельштама – плод той же концепции. Человек возник как высшее проявление природы, как венец трагедий и катаклизмов, Сталин – венец человеческой истории, кровавой, жестокой, но телеологичной.

Мне кажется, мы говорить должны
О будущем советской старины,

Что ленинское-сталинское слово —
Воздушно-океанская подкова,

И лучше бросить тысячу поэзий,
Чем захлебнуться в родовом железе,

И пращуры нам больше не страшны:
Они у нас в крови растворены.

Но образ двоился, стоило лишь взглядеться:
Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Это не были счеты с эпохой. Когда Мандельштама предостерегали: не надо читать прилюдно эти стихи, он возражал – не могу не читать, ведь они написаны.

Двойственность, хотя и другая, была и в самом Мандельштаме, об этом рассказывала его вдова: «Иногда мне казалось, что жить уже больше нельзя, что невыносимо... А Ося вдруг

говорил: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастлива?» Это удивительно помогало, и до сих пор помогает».

А вот иное: «...стоило прийти приятелям и принести ему вина и немного еды, он забывал сразу, что он трагический поэт».

Мандельштам жил как восточный певец, а писал как акмеист. Так было в любых обстоятельствах.

Про Мандельштама в лагере рассказывают легенды. Говорили, что он читал переводы из Петрарки, а его угощали сгущенным молоком. Легенда наивная, а все же, нечто такое могли рассказывать и о каком-нибудь великом манасчи, исполнителе киргизского эпоса «Манас». Как у мифического восточного певца, неизвестно, где его могила. Но можно сказать иначе, он не превратился в лагерную пыль, не распался в прах, а воплотился в частицы, которые несутся наподобие электронов в пространстве, как писал в «Дикой порфире» М.А. Зенкевич, тогда еще акмеист.

Б. Филевский

Стихотворения 1908 – 1925 годов

Камень

* * *

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

1908

* * *

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!

1908

* * *

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

1908

* * *

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко, —

Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.

1909

* * *

Есть целомудренные чары —
Высокий лад, глубокий мир,
Далеко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.

1909

* * *

Дано мне тело – что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пусть мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть.

1909

* * *

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

1909

Silentium¹

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

¹ Молчание (лат.).

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазореваем сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

1910

* * *

Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!

1910

* * *

Из омуты злого и вязкого
Я вырос тростинкой, шурша, —
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

1910

* * *

Скудный луч холодной мерою
Сеет свет в сыром лесу.
Я печаль, как птицу серую,
В сердце медленно несу.

Что мне делать с птицей раненой?
Твердь умолкла, умерла.
С колокольни отуманенной
Кто-то снял колокола.

И стоит осиротелая
И немая вышина,
Как пустая башня белая,
Где туман и тишина...

Утро, нежностью бездонное.
Полу-явь и полу-сон,²
Забывье неутоленное,
Дум туманный перезвон...

1911

* * *

Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и нестрашно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовется упрек, —
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!

Выстрел грянул. Над озером сонным

² Здесь и далее стихи даются в авторской орфографии.

Крылья уток теперь тяжелы.
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.

Небо тусклое с отсветом странным —
Мировая туманная боль —
О, позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь.

1911, 1935

* * *

Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень —
Мрачней гробовых плит.

Мелькающих стрел звон
И вещей ворон крик...
Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг.

Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть
И яростный гимн грянь —
Бунтующих тайн медь!

О, маятник душ строг —
Качается глух, прям,
И страстно стучит рок
В запретную дверь к нам...

1911

* * *

Отчего душа так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм — только случай,
Неожиданный Аквилон?

Он подымет облако пыли,
Зашумит бумажной листвою
И совсем не вернется — или
Он вернется совсем другой.

О, широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края —
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».

Я блуждал в игрушечной чаше
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

1911

Раковина

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;

И хрупкой раковины стены, —
Как нежилого сердца дом, —
Наполнишь шопотами пены,
Туманом, ветром и дождем...

1911

* * *

О, небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослеплю,
И день сторел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

1911

* * *

Я вздрагиваю от холода —
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото —
Приказывает мне петь.

Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!

Так вот она – настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!

Что, если, вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?

1912, 1937

* * *

Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред, —
Башни стрельчатый рост!

Кружевом, камень, будь
И паутиной стань,
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань.

Будет и мой черед —
Чую размах крыла.
Так – но куда уйдет
Мысли живой стрела?

Или свой путь и срок
Я, исчерпав, вернусь:
Там – я любить не мог,
Здесь – я любить боюсь...

1912

* * *

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

1912

* * *

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, – и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!

1912

* * *

Паденье – неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни нам бросает с высоты,
И камень отрицает иго праха?

И деревянной поступью монаха
Мощеный двор когда-то мерил ты:
Булыжники и грубые мечты —
В них жажда смерти и тоска размаха!

Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут.

Немногие для вечности живут,

Но если ты мгновенным озабочен —
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!

1912

Царское Село

Георгию Иванову

Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...
Поедем в Царское Село!

Казармы, парки и дворцы,
А на деревьях — клочья ваты,
И грянут «здравия» раскаты
На крик «здорово, молодцы!»
Казармы, парки и дворцы...

Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма...
Особняки — а не дома!

Свист паровоза... Едет князь.
В стеклянном павильоне свита!..
И, саблю волоча сердито,
Выходит офицер, кичась, —
Не сомневаюсь — это князь...

И возвращается домой —
Конечно, в царство этикета,
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой,
Что возвращается домой...

1912, 1927

Лютеранин

Я на прогулке похороны встретил
Близ протестантской кирки, в воскресенье.
Рассеянный прохожий, я заметил
Тех прихожан суровое волнение.

Чужая речь не достигала слуха,
И только упряжь тонкая сияла
Да мостовая праздничная глухо
Ленивые подковы отражала.

А в эластичном сумраке кареты,
Куда печаль забилась, лицемерка,
Без слов, без слез, скупая на приветы,
Осенних роз мелькнула бутоньерка.

Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы,
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил вдаль, упрямый.

Кто б ни был ты, покойный лютеранин,
Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.

1912

Айя-София

Айя-София – здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.

И всем векам – пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон – света торжество;
На парусах, под куполом, четыре

Архангела прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

1912

Notre Dame

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, и – радостный и первый —
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план,
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра, —
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам...

1912

Петербургские строфы

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке, —
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой – посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената – вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений – бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

1913

* * *

...Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег.

Кто, скажите, мне сознание
Виноградом замутит,
Если явь – Петра создание,
Медный всадник и гранит?

Слышу с крепости сигналы,
Замечаю, как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, донесло.

И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы.

1913

Бах

Здесь прихожане – дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом – Себастьяна Баха
Лишь цифры значатся псалмов.

Разноголосица какая
В трактирах буйных и в церквах,
А ты ликуешь, как Исайя,
О, рассудительнейший Бах!

Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?

Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик —
Лишь воркотня твоя, не боле,
О, несговорчивый старик!

И лютеранский проповедник
На черной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей.

1913

* * *

Мы напряженного молчанья не выносим —
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: просим!

Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо:
Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье – суета и слово – только шум,
Когда фонетика – служанка серафима.

О доме Эшеров Эдгара пела арфа.
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк...
И горло греет шелк щекочущего шарфа...

1913, 1937

* * *

Заснула чернь. Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь.
Здесь Арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил Зверь.

Курантов бой и тени государей:
Россия, ты – на камне и крови —
Участвовать в твоей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови!

1913

Адмиралтейство

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали – воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота – не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек:
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря!

1913

Кинематограф

Кинематограф. Три скамейки.
Сантиментальная горячка.
Аристократка и богачка

В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне —
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы графини.

И в исступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

В груди доверчивой и слабой
Еще достаточно отваги
Похитить важные бумаги
Для неприятельского штаба.

И по каштановой аллее
Чудовищный мотор несется,
Стрекочет лента, сердце бьется
Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем,
В автомобиле и в вагоне,
Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.

Какая горькая нелепость:
Цель не оправдывает средства!
Ему – отцовское наследство,
А ей – пожизненная крепость!

1913

* * *

Отравлен хлеб, и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!

Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,

Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.

Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня – событий
Рассеивается туман.

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!

1913

Домби и сын

Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык —
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.

У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода...

Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик – Домби-сын.
Веселых клэрков каламбуры
Не понимает он один.

В конторе сломанные стулья,
На шиллинги и пэнсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.

А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле —
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.

На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь...

1914

Ахматова

Вполоборота, о, печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос – горький хмель —
Души расковывает недра:
Так – негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

1914

* * *

Поговорим о Риме – дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль, и радуги висят.

На Авентине вечно ждут царя —
Двунадесятых праздников кануны, —
И строго-канонические луны —
Двенадцать слуг его календаря.

На дольний мир глядит, как облак хмурый,
Над Форумом огромная луна,
И голова моя обнажена —
О, холод католической тонзуры!

1914

* * *

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят.
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят.

На стук в железные ворота
Привратник, царственно ленив,
Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф!

Когда с дряхлеющей любовью
Мешая в песнях Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.

1914

* * *

На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг, —
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик-паук.

А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме, — ну, так что ж!
Ты каждый раз, как иностранец,
Сквозь рощу портиков идешь.

И храма маленькое тело
Одушевленное стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле, беспомощный, прижат!

1914

Равноденствие

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера,
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурой зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты,
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

1914

* * *

«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы, мечтанье летит.

Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть —
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...

Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка —
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.

И боги не ведают — что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.

1914

* * *

Природа — тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Природа — тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

1914

* * *

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью брэнной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной!

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

1914

* * *

Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!

Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

1914

Европа

Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен последний материк,
К широкой Азии, к Америке привык, —
Слабеет океан, Европу омывая.

Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья,
Немного женственны заливов очертанья
Бискайи, Генуи ленивая дуга...

Завоевателей исконная земля —
Европа в рубище Священного союза:
Пята Испании, Италии Медуза
И Польша нежная, где нету короля.

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

1914

Посох

Посох мой, моя свобода —
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.

А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.

Снег растает на утесах,
Солнцем истины палим,
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!

1914, 1927

Ода Бетховену

Бывает сердце так сурово,
Что и любя его не тронь!
И в темной комнате глухого
Бетховена горит огонь.
И я не мог твоей, мучитель,
Чрезмерной радости понять.
Уже бросает исполнитель
Испепеленную тетрадь.

.....

.....

.....

Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,

.....

.....

С кем можно глубже и полнее
Всю чашу нежности испить?
Кто может, ярче пламенея,
Усиле воли освятить?
Кто по-крестьянски, сын фламандца,
Мир пригласил на ритуфель
И до тех пор не кончил танца,
Пока не вышел буйный хмель?

О, Дионис, как муж, наивный
И благодарный, как дитя!
Ты перенес свой жребий дивный
То негодуя, то шутя!
С каким глухим негодованьем
Ты собирал с князей оброк
Или с рассеянным вниманьем
На фортепьянный шел урок!

Тебе монашеские кельи —
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи
Огнепоклонники поют;
Огонь пылает в человеке,
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтили, неизвестный бог!

О, величавой жертвы пламя!
Полнеба охватил костер —
И царской скинии над нами
Разодран шелковый шатер.
И в промежутке воспаленном,
Где мы не видим ничего, —
Ты указал в чертоге тронном
На белой славы торжество!

1914

* * *

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою, —
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо:
Из одного куска
И сердцевина дуба,

И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки!

1915

* * *

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово – чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спастись не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.

1915

Дворцовая площадь

Императорский виссон
И моторов колесницы, —
В черном омуте столицы
Столпник-ангел вознесен.

В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы,
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы.

Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится,

Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла.

1915

* * *

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладой когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер – все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915

* * *

Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи овцы – черные халдеи,
Исчадь ночи в капюшонах тьмы.

Их тысячи – передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.

Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семьей холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища и овин.

На них кустарник двинулся стеной
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелой волной.

1915

* * *

С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.

Топча по осени дубовые листы,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты —
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!

Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.

Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была
И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся.

1915

* * *

Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:

– Как эти покрывала мне постылы...

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованием раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина!

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсиновой коркой,
И словно из столетней летаргии
Очнувшийся сосед мне говорит:
– Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!
Когда бы грек увидел наши игры...

1915

Tristia

Зверинец

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран – эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом, опять,
Поют косматые свирели.

Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы, —
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной взволненное зверье!

Петух и лев, широкохмурый,
Орел и ласковый медведь —
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен —
Источник речи итальянской —
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен!

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи —
Орел топорщится и злится:

Что, если для твоей пращи
Тяжелый камень не годится?

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей,
– И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

1916, 1935

* * *

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озираю на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русскому имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

1916

* * *

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.

По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече —
И никогда он Рима не любил.

Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.

Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли.

1916

Соломинка

1

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, – что может быть
 печальней, —
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей!

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их – такая тишина!
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.

Нет, не соломинка – Лигейя, умирање, —
Я научился вам, блаженные слова.

2

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та, соломинка – быть может, Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь!

1916

* * *

1

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.

2

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

1916

* * *

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
— Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы
.....
.....
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелось на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкой туманной
Остаться — значит, быть беде.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю — он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

1916

* * *

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее, —
Баю-баюшки-баю, —
В светлом храме иудей
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудей
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели —
Черным солнцем осиян.

1916

* * *

Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин, —
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.

А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли —
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.

О, Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей!
Нам подарков с острова не надо —
Целый лес незваных кораблей.

1916

Декабрист

Мимо белых колонн мы пошли посмотреть
 виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом
 порядке;
В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином
из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —
Не Елена – другая, – как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях
полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем
полный.

1917

Меганом

Еще далёко асфodelей
Прозрачно-серая весна.
Пока еще на самом деле
Шуршит песок, кипит волна.
Но здесь душа моя вступает,
Как Персефона, в легкий круг,
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных, загорелых рук.

Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

Как быстро тучи пробегают
Неосвещенную грядой,
И хлопья черных роз летают

Под этой ветряной луной.
И, птица смерти и рыдания,
Влачится траурной каймой
Огромный флаг воспоминанья
За кипарисною кормой.

И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет, —
Туда, где с темным содроганьем
В песок зарылся амулет,
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

1917

* * *

А. В. Карташеву

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалась над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: небес тревожна желтизна!
Уж над Евфратом ночь: бегите, иереи!
А старцы думали: не наша в том вина —
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи!

Он с нами был, когда, на берегу ручья,
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

1917

* * *

Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима.

В серебряном ведре нам предлагает стужа
Валгаллы белое вино,

И светлый образ северного мужа
Напоминает нам оно.

Но северные скальды грубы,
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любы
Янтарь, пожары и пиры.

Им только снится воздух юга —
Чужого неба волшебство, —
И все-таки упрямая подруга
Откажется попробовать его.

1917

Кассандре

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественного бденья
Вспоминанья мучат нас.

И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя;
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы —
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.

Но, если эта жизнь – необходимость бреда
И корабельный лес – высокие дома, —
Я полюбил тебя, безрукая победа
И зачумленная зима.

На площади с броневиками
Я вижу человека – он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.

Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу – зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?

1917

* * *

Du, Doppelgänger! du, bleicher Geselle!..³

В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа.
Нам пели Шуберта – родная колыбель!
Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель!

Старинной песни мир – коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой,
Где соловьиных лип рокошующие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.

И сила страшная ночного возвращения —
Та песня дикая, как черное вино:
Это двойник – пустое привиденье —
Бессмысленно глядит в холодное окно!

1918

* * *

Твое чудесное произношение —
Горячий посвист хищных птиц;
Скажу ль: живое впечатленье
Каких-то шелковых зарниц.

«Что» – голова отяжелела.
«Цо» – это я тебя зову!
И далеко прошелестело:
– Я тоже на земле живу.

Пусть говорят: любовь крылата, —
Смерть окрыленное стократ.
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка
И ветра в шопоте твоём,
И, как слепые, ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем.

1918

³ О, <мой> двойник, о, <мой> бледный собрат!.. <Г. Гейне> (нем.).

* * *

Что поют часы-кузнечик,
Лихорадка шелестит
И шуршит сухая печка, —
Это красный шелк горит.

Что зубами мыши точат
Жизни тоненькое дно, —
Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок.

Что на крыше дождь бормочет, —
Это черный шелк горит,
Но черемуха услышит
И на дне морском: прости.

Потому что смерть невинна
И ничем нельзя помочь,
Что в горячке соловьиной
Сердце теплое еще.

1918

* * *

На страшной высоте блуждающий огонь!
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь, —
Твой брат, Петрополь, умирает!

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда, — воды и неба брат, —
Твой брат, Петрополь, умирает!

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет...
Зеленая звезда, — в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...
О, если ты звезда, — Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает!

1918

* * *

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный Форум Москвы
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям, —

Протекает по улицам пышным
Оживленье ночных похорон;
Льются мрачно-веселые толпы
Из каких-то божественных недр.

Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь,
Возвращаясь с полночного пира
Под глухие удары копыт,

И как новый встает Геркуланум
Спящий город в сияньи луны,
И убогого рынка лачуги,
И могучий дорический ствол!

1918

Сумерки свободы

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы, —
О, солнце, судия, народ.

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть — тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;

Сквозь сети – сумерки густые —
Не видно солнца, и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

1918

Tristia

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волю, и длится ожиданье —
Последний час вигилий городских,
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели в даль заплаканные очи,
И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове «расставанье»,
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит,
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сеньях лениво вол жует,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет?

И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит.
Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.

Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,

А им дано гадая умереть.

1918

Черепаша

На каменных отрогах Пиэрии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенок.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловых шкур.

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну, кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет?
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет.

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко?

1919

* * *

Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.